

ПОМНИТЕ у Толстого? «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. ...Когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек?»

Да, именно этот вопрос многократно вставал и передо мной, когда я читал «Тихий Дон» в том, теперь уже редком издании «Роман-газеты», помеченном двадцать девятым годом, на обложке которого была фотография юного Шолохова в шапке-кубанке и чепке, подпоясанным черкесским в серебряном наборе поясом...

Каждый раз, когда события, происходящие в романе, достигали своего драматического предела, а в этом, как я заметил, был свой ритм, вдруг являлось желание взглянуть на портрет. Казалось, лицо человека должно было объяснить то, чего ты не мог отыскать в тексте. С обложки смотрел неправдоподобно молодой человек, спокойный и мужественно строгий, в его лице была открытость, свойственная только очень юным лицам, и то особое выражение, которое хочется назвать веселой ироничностью. Как ни юн был человек, но в его облике были то спокойное достоинство и зрелая сила, которые единственно могут отождествляться с тем прекрасным, что свойственно людям шолоховского Дона...

1.

Вместе с товарищами по полкосту я был в Бухаресте ранней осенью сорок четвертого. Все, кто знаком с положением дел в Румынии той поры, помнят: идею добрых советско-румынских отношений поддерживала вся группа деятелей национальной культуры, среди которых были мировые авторитеты: поэт Аргеши, композитор Энеску, ученый Пархон. К ним принадлежал и Садовяну, прозаик, живой классик. Помню один разговор в доме писателя неподалеку от шоссе Жиану, когда высказывались знаменитого румына касалось художественного существа Шолохова и было особенно обстоятельно.

— На знаю другого современного писателя, книги которого были бы в такой мере живыми, — говорил Садовяну. — Наверно, для художника, пишущего о людях, живущих на природе, это естественно, но Шолохов тут явил такое богатство красок, какого, как мне кажется, в современной литературе не было.

В годы, о которых идет речь, собственно, было два писателя, для творчества которых село было землей обетованной: Шолохов и Садовяну. Если один говорил так о другом, как Садовяну о Шолохове, согласитесь, возникало желание проникнуть в смысл этих слов до конца.

Дон в своей заповедности, казалось, был один такой. Его богатства, наверно, были определены самим положением донской земли на карте России. Тут сбились языковые течения, идущие из Московии и Предкавказья, из Зауралья и Украины, — языковой монолог, образованный этим сочетанием, был необыкновенно богат красками. Да что тут говорить о диалектном монолите, когда в самом шолоховском герое свились эти ветры и эти воды, идущие с запада и востока!

Когда Садовяну говорит о живописности шолоховской прозы, конечно же, он имеет в виду в первую очередь язык писателя: весомость слова, его емкость, его четовые достоинства, его образность.

Зримость — великое качество шолоховского языка. Зримость едва ли не физическая, когда писатель вызывает к твоей способности видеть, слышать, ощущать, обонять, при этом все по-шолоховски ново, все отмечено верностью шолоховского глаза.

О дожде: «Ветер скупко кропил дождевыми каплями, будто милостивно сыпал на черные ладони земли». Сила сравнения — в его логической точности: «будто милостивно сыпал на черные ладони земли».

Собственно, образность языка имеет целью категорию точности, которая позволяет воссоздать полноту в красках и звуках и тем более запахах.

«Подрагивая от холода, Григорий прилежал. От мокрых Аксининых волос тек нежный волнующий запах...»

— Волосы у тебя дурнопахнущие. Знаешь, таким цветом белым...

Нет, это не праздная уловка автора — жизнелюбие шолоховского героя, его земное существо, его способность внимать жизни и в той чуткости, с какой он воспринимает само дыхание земли. Лишить этой черты шолоховского героя — значит во многом лишить его существа, которое делает его сыном земли. Завидно шолоховское умение портретировать героев — по слову того же Садовяну, сила образного шолоховского слова нигде не сказывается так полно, как в портрете.

В том, как в романе Шолохова возникает образ Григория, как прорисовываются его черты, есть свойственная Шолохову способность развивать характер. О бабке-турчанке: «Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одинокие глаза». О деде Прокофии: «...но он, распахнув чепечень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть женой руки...» Об от-

це Пантеле: «Под уклон сползающих годовок закрихтел Пантелей Прокофьевич...» Писатель будто вывел портрет своего главного героя, глядя на характерные лица бабки, деда и отца.

Обращаясь к мысли маститого Садовяну, можно сказать: у писателя есть необходимость взглянуть на персонажей романа в перспективе лет, вдохнув в них магическую энергию движения.

2.

В конце шестидесяти годов судьба занесла меня в Англию — у меня было несколько встреч с писателями, в частности с писательской четой Сноу — Чарльзом Сноу и Памелой Джонсон.

Небольшой овальный стол был сервирован в гостиной с немалым изяществом. Беседа началась с воспоминаний о Вешенской, гостями которой незадолго до этого были супруги Сноу, и постепенно распространилась на шолоховское творчество, коснувшись многих граней «Тихого Дона».

— Конечно, мне трудно в полной мере судить о достоинствах оригинала, — заметил хозяин. — Но и в переводе есть лирическая красота, которая подкупает. Для меня «Тихий Дон» — эпос, который производит тем большее впечатление, что перед нами герои эпи-

вновь и вновь. В самом деле, есть нечто непреложное в том, что определяет правдивость произведения и что, как мне видится, сильнее автора: логика характера. Да, именно логика характера, как та высшая сила, которая побуждает художником. Казалось, автор вселил и решительно все в его власти, однако на поверку оказывается, что вселил не автор, а герой, которого автор породил.

3.

В моем сознании земная доля Григория неразрывно связана с судьбой Дона — если в самом лике земли может отразиться человек, то это тот случай... Военные дороги привели меня дважды на Дон, который хочется назвать шолоховским, хотя места эти и отстояли на некоторое расстояние от родных мест писателя.

...Первый раз в декабре сорок второго, в ветреную зиму, с сухой, неистово стелющейся поземкой, обнажающей степь и наметающей снеговые горы, самолет доставил нас прямо к пологому берегу закопанного в ледяную броню Дона у станицы Старый Мамон. Помню, как группа офицеров, прикомандированных к танковой армии, провели ночь едва ли не от вечерней зари до утренней в балке, занесенной обильным снегом, помогая артиллеристам выволить из снежного плена их пушки — артиллерия должна была следовать за танками. Помнится, в те редкие минуты, когда

ровую критику на слова, не дав сказать того, что она хотела сказать. Можно подумать, что «Тихий Дон» не получил того резонанса, на какой могло рассчитывать создание Шолохова. Вряд ли эта точка зрения верна. Резонанс, который роман нашел повсюду, сделал автора виднейшей фигурой современной литературы, а его слово — высокоавторитетным. Выразился образно, с именем Шолохова сегодня можно решить любую задачу.

Впрочем, мы имеем возможность не быть голословными.

Двадцать пять лет назад в Москве стал выходить журнал «Иностранная литература». Журнал призван был способствовать сплочению писателей, ратующих за мир. В редакции было высказано мнение: если мы хотим рассчитывать на внимание крупных зарубежных писателей, что для молодого журнала было бы бесценно, то к ним должен обратиться Шолохов...

Апрель был нетеплым, и в арбатских палисадниках, сбереженные тенечком, лежали еще сколки синего снега. Было утро, не раннее, близкие Михаила Александровича успели разойтись, и дверь открыл он сам. Для своих пятидесяти лет он мне показался молодым: крепок в ходьбе, подтянут — был бы рыл, при его невеликом росте это было бы заметно.

вспомнил, что в одной московской семье хранится руны, созданное кубанским мастером. Уже взяв на себя входную дверь, я вдруг решаюсь сказать о своей затее Михаилу Александровичу.

— Когда это вас осенило? — спрашивает он, заметно оживившись. — Знаменитого кубанского мастера? Как его фамилия? — Я произношу фамилию моего земляка. — По-моему, я слышал эту фамилию!.. Однако как вы это припомнили?.. Жду вас... нет, зачем нам откладывать на неделю?.. Приходите в следующий понедельник!

Тремя днями позже редакция посылает Михаилу Александровичу папку с материалами, в которых нашла отражение идея Женеви, как ее восприняли писатели. А еще через три дня собираюсь к Шолохову и я, прихватив, разумеется, ружье знаменитого мастера. Оно тем более интересно, что действительно сработано руками прославленного уральца-оружейника, вернее — одной рукой!.. Паралич лишил мастера руки, и много лет он почти не работал.

И вот новая встреча в Старокопшенском. Нет-нет, а Шолохов взглянет на ружье, что лежит на подоконнике, одарит его улыбой, откровенно восхищенной, а то подойдет и возьмет в руки, любясь красновато-коричневой окраской ложа, вороненым, в тонкой резьбе металлом затвора и стволов. «Это так красиво, что может и не стрелять», — будто говорит Михаил Александрович: в самом деле, ружье так красиво и, пожалуй, необычно, что завораживает своим видом.

— Значит, мастер делал ружье одной рукой? — вдруг спрашивает Шолохов. — Художник!.. — говорит он, заметно волнуясь: рисунок, который он рассмотрел, увлек его, видно. — Значит, старый комбат удался в шадринскую даль, что бы сотворил такое?.. А знаете, в этом, пожалуй, больше человеколюбия, чем воинственности, не так ли? — неожиданно произносит он и затихает над машинописным текстом, который должен передать мне...

Он склонился над статьей, а я пытаюсь представить себе: какой он, пишущий Шолохов? Наверно, у него есть навыки и в каллиграфии, но этот навык сейчас не улавливается: пишет он медленно, подолгу задумываясь, даже как-то меняясь в лице. Взглянешь на него, и кажется, что бумага вызывает у него реакцию, похожую на сматывание. (Вот диво: написал «Тихий Дон» и так и не смирился в себе этого чувства.) В тексте, который перед ним, правит он немного, тщательно вписывая слова, — почерк рационален, перо не отрывается от бумаги, пока слово не дотиснано, зримая нить связывает буквы. Эта рациональность и в склонности к сокращениям, они чаще общепринятых и создают впечатление острофеитичности шолоховского времени. Работая, он ручку держит почти вертикально к бумаге — странно, что это не мешает ему писать — приучил себя. Иногда он подносит свободную руку ко лбу и как бы отводит волосы, и я еще раз говорю себе, как хороша у него линия лба. Если в его корнях, близких, есть нечто мелеховское, то оно в цвете глаз и, пожалуй, форме носа, особенно, когда смотришь на Шолохова в профиль, — впрочем, в облике казака, при этом и донского, как его сформировало время, сказывается близость востока, по крайней мере это видит мне.

Шолохов так и сказал: больше человеколюбия, чем воинственности. И все, что говорил он в этот день, было исполнено этой мысли — человеколюбия. И три странички машинописного текста, которые я унес в этот день из шолоховского дома на Старокопшенском и вот уже столько лет храню у себя как драгоценную реликвию, были исполнены этой же мысли. Кстати, там есть строки, где эта мысль выражена прямо, важные строки, обращенные к писателям и к легкой руке Михаила Александровича, облетевшие земной шар: «У нас могут быть разные взгляды, но нас объединяет одно: быть полезным человеку...»

Наверно, тут самое время сказать, что письмо Шолохова вызвало отклики повсюду в мире, что на него отозвались Кальвино и Хикмет, Фолкнер, Ийеш и Неруда, что оно послужило доброй службой журналу «Иностранная литература». В высшей степени поучительна философия явления, вызванного шолоховским призывом. В нем, в этом явлении, был заряд добра, а следовательно, способность будить энергию созидания. Было в этом явлении и нечто такое, что как бы вновь показало нам «Тихий Дон» в его неубывающей мощи. Знаменательно, что шолоховское творение пришло нам на помощь, когда возникла необходимость обрести взаимопонимание в самой насущной из проблем — проблеме мира. Конечно, могут быть и иные свидетельства того, что работа писателя живет и деятельно помогает человеку, но, согласитесь, трудно найти свидетельство более разительное и весомое, чем это...

Помните у Толстого: «...Когда мы... созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек?»

Необыкновенно благодарно увидеть все грани личности Шолохова, писательской и человеческой, имея в виду его большое создание...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ТИХОМУ ДОНУ»

Савва
ДАНГУЛОВ

ческой мощи, в частности, и в своих страхах...

— А не находите ли вы... — подала голос хозяйка с той живостью, которая, как я заметил, была свойственна ее реакции. — Не находите ли вы, что в том, как драматическим местам романа сопутствует описание природы, есть нечто... симфоническое? Такое впечатление, будто в написании романа участвовал композитор, не правда ли?

— Как у Шекспира? — вырвалось против моей воли. — «Король Лир»?

— Пожалуй, «Король Лир», — улыбнулась она.

Мне захотелось взглянуть на «Тихий Дон» в свете мысли, которая возникла в ходе беседы с писательской четой Сноу. В том, как Шолохов развивает свой рассказ, как увлекает читателя историей мелеховской семьи и завораживает происходящим на донском хуторе Татарском, свою роль играют драматические эпизоды. Они, эти эпизоды, в чем-то автономны, а интервалы, возникающие между ними, не велики. Несмотря на сжатость, что естественно для начала романа, набирающего свое могучее развитие, свой разбег, уже в первом эпизоде есть, наверно, первозданное того большого, что вызовет к жизни роман, — речь идет о судьбе мелеховской, прародительницы, которую Прокофий увлек из далекой Туретчины. А потом в этих эпизодах есть все повороты бедовой судьбы Григория, своя добрая обстоятельность, воссоздающая уже не всю историю, а ее главу, но обязательно полную высокого эмоционального звучания, трагедийного смысла.

И истинно, как заметила Памела Джонсон: в том, как за последними строками главы, раскрывающей трагедийное существо событий, следует картина природы, картина, нередко могучая в своей первозданной яви, есть что-то симфоническое. Помните эту сцену, когда Аксинья, уже открывшая душу Григорию, провожает на лагерьный сбор мужа, а из соседнего двора следят за ними Григорий, точно желая проникнуть в самую суть происходящего и увидеть многое из того, что начиналось в его жизни с Аксиньей? «...Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи, заглядывала ему в глаза. Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом. Григорий провожал их долгим неморгающим взглядом». Но в тот раз у писательской четы Сноу прозвучала еще одна мысль, важная для понимания Шолохова-романиста: — Шолохов воспринял традицию русской классики так глубоко, как может воспринять ее писатель, который из этой традиции вырос. Посудите сами: как ни противоречив образ того же Григория, как ни сильно в нем подчас негативное начало, носителем человеческих достоинств — совести, чести, доброты — является именно он...

К тому, что было сказано за овальным столом в доме Сноу, мысль возвращалась вновь и вновь. В самом деле, есть нечто непреложное в том, что определяет правдивость произведения и что, как мне видится, сильнее автора: логика характера. Да, именно логика характера, как та высшая сила, которая побуждает художником. Казалось, автор вселил и решительно все в его власти, однако на поверку оказывается, что вселил не автор, а герой, которого автор породил.

4.

Есть мнение: когда «Тихий Дон» был завершен и пришла пора осмыслить созданное, разразилась война и пресекала ми-

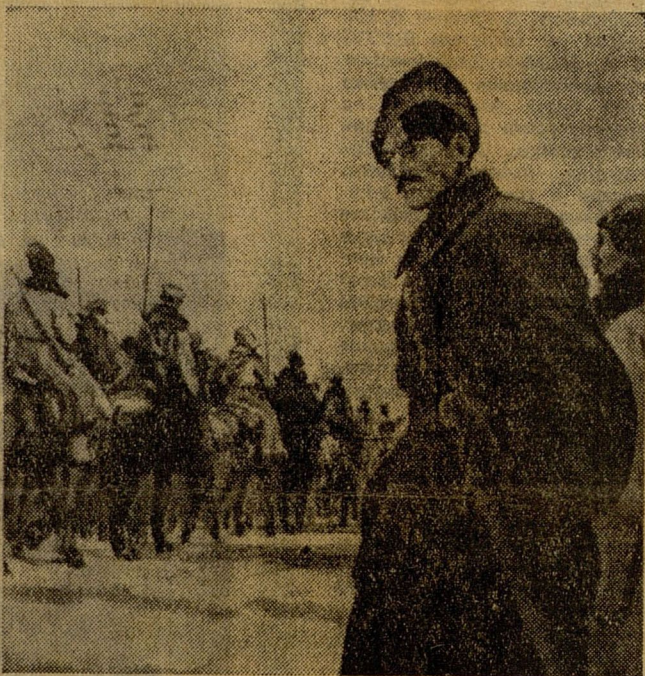


Иллюстрация О. Верейского к роману М. Шолохова «Тихий Дон»

удавалось оглянуться вокруг, думалось: «А ведь это шолоховская степь — сколько отсюда до Вешенской, верст сто — сто пятьдесят!»

...Я был здесь вновь ранней осенью сорок четвертого, правда, не на Дону, а на притоке Дона — Хопре, когда в здешних степях формировалась чехословацкая бригада, и степь открылась мне в мягком свечении степного солнца, червонного на закате, в пыльных, посеребривших по осени травах, в проседах тополе-вых рощ, какие встречаются здесь в степных низинах — лето в тот год было добрым, степь радовала своей зрелой силой. В просторах, что от-крывались глазу, ознакоми-лось шолоховское степное приволье, способное отзываться воспоминанием, которое

В самом облике Дона, как он возникает у Шолохова, есть нечто одушевленное — писатель точно призывает Дон в свидетели, как бы смотрит на происходящее его глазами, он и советчик, Дон-бабушка, он и судья. В самом существе реки есть и участливое, и ве-стливое, и спокойное-невоз-мутимое, и бесстрашное — он будто должен осмыслить вели-кий спор людей с высоты сво-его ума и опыта, Дон-провидец.

Не думаю, что Шолохов хотел этого, но в моем читатель-ском сознании образ Дона, как он возник в романе, отождест-вляется еще и с существом са-мого автора, образ Дона, а вместе с ним и донских прост-оров, донской степи. Не очень-то щедр Шолохов на слово, когда речь идет о нем самом — его признания, по-добно мушкетеру слезам, не ча-сто пробиваются наружу. Если есть тут исключения, то в од-ном случае: Дон, Донщина, степь. «Родимая степь под низ-кими донскими небом!.. Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачья, нежалеющей кровью политая степь!»

Вот и для меня Дон, как я увидел его, отождествил и боль, и гнев, и радость, и про-видение Шолохова: тревожно-настенная река в декабрьскую стужу сорок второго у Старо-го Мамона и светлая ранняя осень сорок четвертого, когда самолет прошел над ней, возвращаясь из Новопоперска, — если в природе было пред-чувствие добрых перемен, пред-вещающих нашу большую победу, то его являл Дон...

— Вот сюда, пожалуйста, — произнес он, открыв дверь в комнату слева, голос негром-кий, приятно баритональный, как у всех курящих, чуть тускловатый. — Да, да, вот сюда...

Комната, не столь уж прос-торная, выходящая, как мне показалось, окнами на Старо-копшенский, есть в ней что-то от казенной квартиры, в кото-рой Шолохов не очень угады-вается.

— Садитесь, быть может, ближе к окну? — он пододви-гает стул. Несмотря на солнеч-ное утро, в комнате сумереч-но. — Небошь шли пешком — сегодня добрый день, — он внимательно смотрит на меня, улыбается. — Вы откуда ро-дом?..

— Из тех самых мест, Миха-ил Александрович, куда Гри-горий грозит увести Аксинью... — Не с Кубани?

— С Кубани...

— Молодая земля, — про-изнес он задумчиво. — И все страсти у людей молодые: ко-ни, оружие... — Он улыбнулся своей мысли потаенной. — У вас там оружейные мастера на славу — я видел ружья...

Не просто было перебрести-мост от шолоховской реплики о Кубани к тому насущному, что заставило меня потрево-жить Михаила Александровича.

— В том, как рождается жур-нал, есть неизведанное, — произносит он строго.

Я слушаю Шолохова, изред-ка поглядывая на него. Видно, прошлое лето он часто бывал в степи, за зиму загар не успел размыться. Да и в висках рас-познается белесина, солнце прихватило и их. Веселая искра жива в глазах. Кажется, вот-вот накалится она и вспых-нет вместе с доброй шолохов-ской шуткой — у него потреб-ность в смехе, это его стихия. Когда в разговоре он чуть-чуть отводит голову, видны очерт-ания лба — в линии лба есть благородная могучесть, как и то всевластное спокойствие, ко-торое сродни силе.

Мы улавливаемся встретит-ся вновь через неделю.

Уже прощаясь, я вспоминаю начало нашего разговора: а не хотел бы Шолохов увидеть нечто такое, что он назвал мо-лодыми страстями Кубани? Однако как об этом сказать, чтобы не ввести Михаила Александровича в заблужде-ние? Сказать не так, и чего доброго подумает, что я за-намерился привести на Старо-копшенский «наблюдца» или «ахалтекинца», когда на-мерение моего скромнее: по-казать охотничье ружье, сра-ботанное знаменитым кубан-ским умельцем. Да, я вдруг